АЛЕКСАНДР БЕК

ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б42

Серия «Эксклюзивная классика»

Серийное оформление *А. Фереза, Е. Ферез*

Художник *Е. Лазарева*

Бек, Александр.

Б42 Волоколамское шоссе : [роман] / Александр Бек. — Москва : Издательство АСТ, 2025. — 672 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-173265-3

Шедевр военной прозы «Волоколамское шоссе» переведен на десять языков. В нем ярко описываются страшные дни обороны Москвы во время Великой Отечественной войны...

Романом зачитывался Эрнесто Че Гевара, а Фидель Кастро, отвечая на вопрос, кого из героев Второй мировой войны он считает своим кумиром, не задумываясь сказал: «Бауржана Момыш-улы — героя книги Александра Бека «Волоколамское шоссе».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© А. Бек, наследники, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025

ПОВЕСТЬ ПЕРВАЯ

1. Человек, у которого нет фамилии

В этой книге я всего лишь добросовестный и прилежный писец.

Вот ее история.

— Нет, — резко сказал Баурджан Момыш-Улы, — я ничего вам не расскажу. Я не терплю тех, кто пишет о войне с чужих рассказов.

— Почему?

Он ответил вопросом:

— Знаете ли вы, что такое любовь?

— Знаю.

— До войны я тоже считал, что знаю. Я любил женщину, я испытал страсть, но это ничто в сравнении с любовью, которая возникает в бою. На войне, в бою, рождается самая сильная любовь и самая сильная ненависть, о которой люди, этого не пережившие, не имеют представления. А понимаете ли вы, что такое внутренняя борьба, что такое совесть?

— Понимаю, — менее уверенно ответил я.

— Нет, вы этого не понимаете. Вы не знаете, как дерутся, борются два чувства: страх и совесть. Самые свирепые звери не способны так жестоко бороться, как эти два чувства. Вам известна совесть труженика, совесть мужа, но вы не знаете совести солдата. Вы бросали когда-нибудь гранату во вражеский блиндаж?

— Нет.

— Тогда как же вы будете писать о совести? Боец наступает вместе с ротой, в него бьют из пулеметов, рядом падают товарищи, а он ползет и ползет. Проходит час — шестьдесят минут. В минуте шестьдесят секунд, и каждую секунду его могут сто раз убить. А он ползет. Это совесть солдата! А радость? Знаете ли вы, что такое радость?

— Должно быть, и этого не знаю, — сказал я.

— Верно! Вам известна радость любви и, быть может, радость творчества. Жена, вероятно, делилась с вами радостями материнства. Но кто не испытал радости победы над врагом, радости боевого подвига, тот не знает, что такое самая сильная, самая жгучая радость. Как же вы будете писать об этом? Станете выдумывать?

На столе лежал номер журнала, где был напечатан очерк о панфиловцах, о бойцах того самого полка, которым командовал Баурджан Момыш-Улы.

Он резко придвинул журнал к лампе — все его движения были резкими, даже когда он бросал спичку, закурив, — перелистал, склонился над раскрытой страницей и отбросил.

— Не могу читать! — произнес он. — На войне я прочел книгу, написанную не чернилами, а кровью. После такой книги мне невыносимы сочинения. А что можете написать вы?

Я пытался спорить, но Баурджан Момыш-Улы был непреклонен.

— Нет! — отрезал он. — Мне ненавистна ложь, а вы не напишете правды.

Познакомиться нам довелось так.

Я долго искал человека, который мог бы рассказать о битве под Москвой, — человека, чье повествование охватило бы замысел и смысл операций и вместе с тем повело бы туда, где проверяется и решается все, — в бой.

Не буду описывать этих поисков. Скажу лишь необходимое.

Изучив материалы, я знал, что, наступая на Москву в октябре и в ноябре 1941 года и пытаясь сомкнуть клещи вокруг нашей столицы, противник одновременно рвался к цели напрямик, нанося главный удар вдоль Волоколамского, а затем Ленинградского шоссе.

В тяжелые дни октября, когда немцы прорвались под Вязьмой и на танках, мотоциклах, грузовиках двигались на Москву, подступы к Волоколамскому шоссе закрыла 316-я стрелковая дивизия, ныне известная как 8-я гвардейская дивизия имени генерал-майора Панфилова. Предприняв второе, ноябрьское, наступление на Москву, противник вбивал клин в том же направлении, где опять-таки дрались панфиловцы. В семидневном сражении под Крюковом, в тридцати километрах от Москвы, панфиловцы вместе с другими частями Красной армии сдержали напор немцев и отбросили врага.

Я отправился к панфиловцам и, еще не ведая ни имени, ни звания человека, который расскажет историю великой двухмесячной битвы, верил: я встречу его.

И действительно встретил.

Это был Баурджан Момыш-Улы, в дни битвы под Москвой старший лейтенант, а теперь, два года спустя, гвардии полковник.

Знакомясь, он назвал себя. Плохо расслышав, я переспросил.

— Баурджан Момыш-Улы, — раздельно повторил он.

В его тоне я уловил странную нотку, которая в тот момент показалась ноткой раздражения. Должно быть, он любит, подумалось мне, чтобы его понимали мгновенно.

По привычке корреспондента я вынул записную книжку.

— Простите, как пишется ваша фамилия?

Он ответил:

— У меня нет фамилии.

Я изумился. Он сказал, что в переводе на русский Момыш-Улы означает сын Момыша.

— Это мое отчество, — продолжал он. — Баурджан — имя. А фамилии нет.

В его лице не было мечтательной мягкости, свойственной, как принято думать, Востоку. Существует множество лиц, которые кажутся вылепленными — иногда любовно, тщательно, иногда — как говорится — тяп да ляп. Лицо Баурджана Момыш-Улы напоминало о резьбе, а не о лепке. Оно казалось вырезанным из бронзы или из мореного дуба каким-то очень острым инструментом, не оставившим ни одной мягко закругленной линии.

У меня оно вызвало одно детское воспоминание. На твердых синих переплетах собрания сочинений Майн Рида или Фенимора Купера было вытиснено в профиль худощавое лицо индейца. Профиль Баурджана был похож, чудилось мне, на этот рельефный оттиск.

По-монгольски смуглое, слегка широкоскулое, часто непроницаемо спокойное, особенно в минуты гнева, оно было украшено на редкость большими черными глазами. Свои блестящие черные волосы, упрямо непокорные гребенке, Баурджан в шутку называл лошадиными.

Слушая, я приглядывался к нему. Этот казах свободно владел богатством русской речи. Даже в минуты волнения он не коверкал слов и оборотов. Лишь некоторая неторопливость речи казалась иногда нарочитой. Впоследствии я подметил: слова текли быстрей, когда он разговаривал по-казахски.

Взяв папиросу и с резким щелканьем захлопнув портсигар, он упрямо закончил:

— Если вы все-таки когда-нибудь будете обо мне писать, называйте меня по-казахски: Баурджан Мо-

мыш-Улы. Пусть будет известно: это казах, это пастух, гонявший баранов по степи; это человек, у которого нет фамилии.

В первый же вечер знакомства мне посчастливилось услышать, как Баурджан Момыш-Улы беседовал с прибывшими в полк командирами — новичками войны.

Он говорил о душе солдата. Неторопливо развивая мысль, он рассказал кстати про один из боев у Волоколамского шоссе.

У меня екнуло сердце. Быстро вынув блокнот, я жадно записывал. Еще не веря удаче, я угадывал: вот они, страницы долгожданного повествования. Улучив после беседы минуту, я попросил Баурджана Момыш-Улы рассказать с начала до конца историю боев у Волоколамского шоссе.

— Нет, — ответил Баурджан Момыш-Улы, — я ничего вам не расскажу.

Читателю известен наш дальнейший разговор.

Я не сомневался, что Баурджан Момыш-Улы в этом случае был несправедлив. Я хотел того же, что и он: правды. Однако его оценки людей — особенно тех, кто не испытал доли солдата, — нередко бывали излишне колючими. Думается, это отчасти объяснялось молодостью Баурджана. В те дни, когда мы встретились, ему исполнилось тридцать лет.

Получив крутой отказ, я перестал настаивать, но немало дней провел бок о бок с Баурджаном.

Он любил и умел рассказывать. Ловя случай, я терпеливо записывал. Он привык ко мне.

От друзей Баурджана я узнал историю его жизни. В школе ему дали два прозвища: Большеглазый и Шан-Тимес. Второе в буквальном переводе означает недоступный пыли. Так звался легендарный конь, который скакал столь быстро, что даже пыль, поднятая его копытами, не касалась его.

Наступила минута, когда я сказал Баурджану:

— А все-таки я напишу про вас. И где-нибудь обязательно упомяну, что в школе вы были Шан-Тимес.

Он улыбнулся. Улыбка преображала его. Суровое лицо вдруг становилось ребячливым.

— А вы артиллерийская лошадь, — ласково сказал он. — Не обижайтесь, это комплимент. Артиллерийская лошадь везет медленно, ее трудно повернуть, но, поворачивая, она тянет за собой и орудие. Вы повернули меня... Я расскажу все, что вы хотели. Но условимся...

Слегка откинувшись, он выхватил из ножен шашку. В низком сыроватом блиндаже, скупо освещенном маленькой лампой без стекла, блеснуло светлое узорчатое лезвие.

2. Страх

— Условимся, — продолжал он. — Вы обязаны написать правду. Готовую книгу принесете мне. Я прочту первую главу, скажу: «Плохо, наврано! Кладите на стол левую руку». Раз! Левая рука долой! Прочту вторую главу: «Плохо, наврано! Кладите на стол правую руку». Раз! Правая рука долой! Согласны?

— Согласен, — ответил я.

Мы оба шутили, но не улыбались.

Не по-монгольски широкие черные глаза испытующе вглядывались в меня.

— Хорошо, — сказал он. — Кладите бумагу, берите карандаш. Пишите: «Глава первая. Страх».

— Пишите, — сказал Баурджан Момыш-Улы: — «Глава первая. Страх».

Подумав, он проговорил:

— «Не ведая страха, панфиловцы рвались в первый бой...» Как по-вашему: подходящее начало?

— Не знаю, — нерешительно сказал я.

— Так пишут ефрейторы литературы, — жестко сказал он. — В эти дни, что вы живете здесь, я нарочно велел поводить вас по таким местечкам, где иногда лопаются две-три мины, где посвистывают пули. Я хотел, чтобы вы испытали страх. Можете не подтверждать, я и без признаний знаю, что вам пришлось подавлять страх.

Так почему же вы и ваши товарищи по сочинительству воображаете, что воюют какие-то сверхъестественные люди, а не такие же, как вы? Почему вы предполагаете, что солдат лишен человеческих чувств, свойственных вам? Что он, по-вашему, — низшая порода? Или, наоборот, некое высшее создание?

Может быть, по-вашему, героизм — дар природы? Или дар каптенармуса, который вместе с шинелями раздает бесстрашие, отмечая в списке: «получено», «получено»?

Я немало уже пробыл на войне, стал командиром полка и имею основание, думается мне, утверждать: это не так!

На что рассчитывали немцы, вторгаясь в нашу огромную страну? Они были уверены, что в восточный поход вместе с ними во главе танковых колонн отправится генерал Страх, перед которым склонится или побежит все живое.

Наш первый бой, проведенный в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое октября тысяча девятьсот сорок первого года, был и сражением со страхом. А семь недель спустя, когда мы отбросили немцев от Москвы, за ними побежал и генерал Страх. Они наконец-то узнали, быть может впервые за эту войну, что значит, когда сзади гонится страх.

До середины октября, до момента, когда начались сражения на подмосковных рубежах, мы в боях не участвовали. Выехав из Казахстана, мы полтора месяца прожили в болотах Ленинградской области, в три-

дцати—сорока километрах от фронта, на так называемой второй линии обороны, числясь резервом Главного Командования.

Утром шестого октября я получил приказ: поднять батальон по тревоге и выступить к ближайшему железнодорожному разъезду. Там нас уже ждали теплушки и платформы. Погрузившись, мы в ночь тронулись.

Куда? Даже мне, командиру батальона, до поры до времени этого знать не полагалось. Казалось, мы едем не к фронту, а от фронта. Поезд несся к узловой станции Бологое, минуя с ходу промежуточные пункты.

В пути объявили, что в Бологом для нас готов обед. Но кто-то торопил, кто-то подхлестывал наши эшелоны. Обед раздать не успели. Смена паровозов была произведена в две-три минуты. Гудок — и снова в путь!

Все с любопытством ждали, куда повернем от Бологого. Скоро выяснилось: к Москве.

Туда, не снижая скорости на полустанках, мчались с интервалами в полтора-два часа наши эшелоны. Триста шестнадцатая стрелковая дивизия.

Зачем, для каких целей нас перебрасывают?

Неизвестно.

Почему мчимся с такой скоростью? Куда, по какой дороге поедем от Москвы? Где остановимся?

Неизвестно, неизвестно.

Необычно быстрое движение вызвало у всех тревожную приподнятость. Думалось: наконец-то настоящее, наконец-то в дело, в бой!

Седьмого октября мы выгрузились в лесу близ Волоколамска, в ста двадцати километрах западнее Москвы.

Меня вызвали к командиру полка на станцию.

Запомнились выстроившиеся близ полотна приземистые клепаные башни, выкрашенные маскировочным узором — зелеными и серыми разводами. Это были вместилища бензина.

Мог ли я знать, что скоро увижу на фоне угрюмого октябрьского неба, как без грохота, который дошел позднее, без пламени и дыма, которые заволокли горизонт потом, они, эти железные башни, враз медленно поднимутся и, словно повисев мгновение, рухнут?

Подходя к станционному зданию — впоследствии от него осталась лишь раскрытая кирпичная коробка с хвостами копоти над пустыми окнами, — я издали заметил длинный состав платформ, груженных пушками.

Меня кто-то окликнул. У состава я увидел полковника Малинина, командира артиллерийского полка нашей дивизии.

— Полюбуйтесь-ка, отступник, — сказал он. — Хороши?

Он называл меня отступником с того дня, как узнал, что я, артиллерист, командир батареи, по собственному настоянию перешел в пехоту.

Орудия были смазаны по-заводски — толстым слоем потемневшего сверху густого пушечного сала. Дополнительно к нашей дивизионной артиллерии они только что прибыли сюда.

— Ого, — сказал я, — есть и тяжелые!

— Этих бегемотов будем устанавливать как крепостные...

— Разве мы здесь надолго?

— Зимовать, должно быть, будем.

Я ощутил разочарование. Опять, значит, мы в тылу, опять в резерве.

Я не знал, что далеко впереди, за Вязьмой, немцы рассекли фронт, заслонявший Москву, что Гитлер четыре дня назад объявил по радио миру: «Красная армия уничтожена, дорога на Москву открыта».

А Москва в это время напряженно создавала новый фронт в ста двадцати — ста пятидесяти километрах от городской черты, на рубежах, которые вошли

в историю под названием «дальних подступов к столице». С московских вокзалов без речей и оркестров отправлялись коммунистические батальоны в штатском, получавшие оружие и обмундирование в пути. За день-два до нашего прибытия было переброшено на грузовиках через Волоколамск к Московскому морю пехотное училище имени Верховного Совета; за ним туда отправилось с учебными орудиями Московское Краснознаменное артиллерийское училище. Москва посылала навстречу врагу свежие силы и вооружение, в том числе и эти пушки.

В штабе полка подтвердили: дивизии приказано принять и оборудовать оборонительные сооружения в районе Волоколамска. Мне указали полосу моего батальона.

Вечером мы выступили в ночной марш к реке Рузе, за тридцать километров от Волоколамска.

Житель Южного Казахстана, я привык к поздней зиме, а здесь, в Подмосковье, в начале октября утром уже подмораживало. На рассвете по схваченной морозом дороге, по затвердевшей, вывороченной колесами грязи мы подошли к селу Новлянскому — самому крупному населенному пункту нашего батальонного участка.

Глаз сразу отметил силуэт невысокой колокольни, черневшей в мутном небе.

Оставив батальон близ села, в лесу, я с командирами рот отправился на рекогносцировку.

Моему батальону было отмерено семь километров по берегу извилистой Рузы. В бою, по нашим уставам, такой участок велик даже для полка. Это, однако, не тревожило. Я был уверен, что если противник действительно подойдет когда-нибудь сюда, его встретит на наших семи километрах не батальон, а пять или десять батальонов. С таким расчетом, думалось мне, надо готовить укрепления.

Не ожидайте от меня живописания природы. Я не знаю, красив или нет был расстилавшийся перед нами вид.

По темному зеркалу, как говорится в топографии, неширокой медлительной Рузы распластались большие, будто вырезанные листья, на которых летом цвели, наверное, белые лилии. Может быть, это красиво, но я для себя засек: дрянная речонка, она мелка и удобна противнику для переправы.

Однако береговые скаты с нашей стороны были сделаны недоступными для танков: поблескивая свежесрезанной глиной, хранящей следы лопат, к воде ниспадал отвесный уступ, называемый на военном языке эскарпом.

За рекой виднелась даль — открытые поля и отдельные массивы, или, как говорят, клины, леса. В одном месте, несколько наискосок от села Новлянского, лес на противоположном берегу почти вплотную примыкал к воде. В нем, быть может, было все, чего пожелал бы художник, пишущий русский осенний лес, но мне этот выступ казался отвратительным: тут вероятнее всего мог, укрываясь от нашего огня, сосредоточиться для атаки противник.

К черту эти сосны и ели! Вырубить их! Отодвинуть лес от реки!

Хотя никто из нас, как сказано, не ожидал здесь вскорости боев, но нам была поставлена задача: оборудовать оборонительный рубеж, и следовало выполнить ее с полной добросовестностью, как положено офицерам и солдатам Красной армии.

Первые вестники отступления появились на следующий день: брели жители, где-то оставившие все; среди них встречались бойцы, выбиравшиеся мелкими группами из окружения.

Впервые я встретил их — скитальцев в солдатских шинелях — у батальонной кухни.

Они грелись у костра. Их с любопытством рассматривал командир хозяйственного взвода пожилой лейтенант Пономарев, до войны директор не особенно крупного строительства. Сюда же собрались повара и бойцы, наряженные в тот день на кухню.

Пономарев скомандовал «смирно!» и подбежал с рапортом.

Я искоса смотрел на сидевших у костра: там кое-кто поднялся, кое-кто лишь пошевелился.

— Что за люди? — спросил я.

От огня шагнул рябоватый маленький красноармеец.

— Из окружения, товарищ старший лейтенант!

В то утро я первый раз услышал это слово.

— Какое окружение? Где?

— Под Вязьмой, товарищ старший лейтенант... Теперь он сюда прет.

— Кто?

— Известно кто... немец...

— Вы его видели?

— Разве его увидишь? Сыплет, как горохом, минами... Или прет по шоссе на танках и стреляет во все стороны.

— Танки видели?

— В кино, товарищ старший лейтенант, на танки можно глядеть вольно... А тут не до погляденья! Все в глазах мешается, света не увидишь, когда он тарахтит и бросает во все стороны.

— Винтовка где?

— Со мною, в целости... Извиняюсь, товарищ старший лейтенант, не чищена...

— Куда же вы?

— В Москву, на формирование... Мы ходко шли, многих обогнали. Я, товарищ старший лейтенант, взял их под начало, чтобы вывести... В Москве, говорят, бой будем принимать. Сейчас пойдем... Тут нельзя нам прохлаждаться, скоро он тут будет... По-

обедать не дозволите с вашего котла, товарищ старший лейтенант?

Простодушие, с каким маленький рябоватый солдат признавался в бегстве, было особенно страшным. Его слушали жадно.

Я вновь оглядел его «часть». Все давно не брились, давно не умывались, от этого на лица лег одинаковый серый налет. На сапогах и обмотках засыхала у огня невытертая грязь. Все были без знаков различия на шинелях.

— Все рядовые? — спросил я.

Почувствовалась неловкость. Потом один поднялся. Это был парень лет двадцати двух, с растерянными, грустными глазами.

— Я лейтенант, командир взвода, — сказал он.

Не знаю, быть может, я не изменился в лице, но внутренне шарахнулся, словно от удара: как, командир взвода, лейтенант, офицер Красной армии, бежит вместе с красноармейцами с фронта под началом бывалого солдата?

В эту минуту повар поставил перед «окруженцами» кастрюлю с дымящимся супом.

— Кушайте, — сказал он. — Теперь не пропадете, к своим попали... Заправляйтесь!

Я крикнул:

— Встать! Лейтенант Пономарев! Арестовать дезертиров! Отобрать оружие!

— Винтовку не отдам, — сказал рябоватый солдат.

— Молчать! Лейтенант Пономарев, исполняйте приказ.

Еще не договорив, я заметил, что Пономарев смотрит куда-то мимо меня, удивленно поднимая брови.

Я оглянулся. К батальонной кухне устало брели человек десять, в шинелях, с винтовками и без винтовок. Некоторые подняли воротники, сунули руки в карманы. Этого у меня не водилось. Было ясно даже издали: эти — не моего батальона.